



Дмитрий Скворцов

БАРХАТНЫЕ СЛЁЗЫ

18+

Дмитрий Скворцов

Бархатные слёзы

«Автор»

2026

Скворцов Д. И.

Бархатные слёзы / Д. И. Скворцов — «Автор», 2026

Анабель сочиняет зауспокойную музыку на заказ: а на программках стоит одно слово — «аноним». Для одних она Ана, для других Белла. Ни одна из двух не настоящая. Девять лет она тайно пишет собственный реквием и девять лет не решается дать его услышать. Об этом просит единственный, кто заметил её работу: почтенный собиратель, у которого под стеклом в двенадцать рядов лежат четыреста бабочек. Однако одна Анабель во всём Лондоне видит, что он давно уже не человек.

© Скворцов Д. И., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Часть первая. Introitus	5
Глава первая. Четверть тона	5
Глава вторая. Человек без зазора	7
Глава третья. Три с половиной часа	8
Глава четвёртая. Четыреста под стеклом	10
Глава пятая. Между второй и третьей	13
Конец ознакомительного фрагмента.	16

Дмитрий Скворцов

Бархатные слёзы

Часть первая. Introitus

Глава первая. Четверть тона

В доме что-то пело.

Не всерьёз, не в полный голос — так поёт остывающая труба в стене, так отзывается стекло, когда мимо проезжает кэб. Анабель знала за домом эту привычку и давно перестала придавать этому значение. Дом на Фицрой-стрит был стар, дешёв и прямолинеен: он говорил, когда ему было холодно, он жаловался на сырость, он вздыхал под ногами жильцов с верхнего этажа, и всё это было так же естественно, как то, что по утрам в комнате пахнет углём.

И только одно было не так.

Труба пела чуть ниже, чем следовало. На четверть тона ниже — ровно настолько, чтобы ни один человек в Лондоне этого не заметил, и ровно настолько, чтобы женщина, у которой слух был лучшим и единственным её имуществом, отметила это и тут же выбросила из головы.

Дом старый — трубы тоже старые.

Она заварила чай и стала ждать клиентов.

Пришли они в четверть одиннадцатого — вдова и сын, оба в новом, плохо сидящем трауре, купленном наспех. Вдову звали миссис Пенхэллоу. Сына — не важно, он за весь визит не произнёс ничего, что не было бы сказано за него матерью.

Ваша работа нам очень рекомендована, сказала миссис Пенхэллоу, усаживаясь на край стула так, будто стул мог её не выдержать. Нам сказали, вы делаете её быстро и так, что люди потом плачут.

Людям хочется плакать. Это тоже входит в цену.

— Я постараюсь, чтобы плакали по делу, — сказала Анабель.

Она всегда задавала одни и те же три вопроса, и они не имели ничего общего с теми, которых от неё ждали.

Какая у него была походка.

Над чем он смеялся — не «был ли он весёлым», а над чем именно, дословно, если помните.

И какую мелодию он напевал, когда думал, что его никто не слышит.

Миссис Пенхэллоу на третьем вопросе замолчала, и в этом молчании Анабель, как всегда, услышала больше, чем во всём, что было сказано до него.

Он свистел, сказала вдова наконец. Не мелодию. Две ноты, туда и обратно, туда и обратно, — когда брился, когда считал деньги, когда его что-нибудь беспокоило. Тридцать один год я слышала эти две ноты и ни разу не спросила, что это. Я даже не знаю, была ли это песня. Я думала, у меня будет время спросить.

Вот оно. Вот за этим я и езжу к чужим людям в тоскливые дни.

— Насвистите мне, — сказала Анабель мягко. — Как сумеете. Фальшиво — тоже годится.

Миссис Пенхэллоу насвистела. Фальшиво.

Это была малая секунда, вниз и вверх, вниз и вверх. Самый тесный, самый неуютный шаг, какой есть в музыке; тот, которым в операх обозначают тревогу. Тридцать один год человек

носил в себе тревогу и выдувал её сквозь зубы, и жена слышала это каждый день, и приняла за привычку.

— Я напишу вам вашего мужа, — сказала Анабель.

И написала. К четвергу.

Пьеса для органа и двух голосов, шесть минут, ре минор, и в ней, под всем, что положено — под покоем, под утешением, под обещанием встречи, — всё время ходили вниз и вверх две ноты, так глубоко зашитые в ткань, что их никто не выделил бы пальцем, и так настойчиво, что не услышать их было нельзя.

В церкви святого Панкратия плакали все.

Плакали так, как плачут, когда узнают, а не когда им грустно, — посреди второй минуты, до всякого крещендо. Миссис Пенхэллоу вцепилась в спинку передней скамьи обеими руками, и её сын, который за весь тот визит не сказал ни слова, впервые за неделю заплакал тоже.

На программке значилось:

Элегия. Аноним.

Ниже, мелким шрифтом: «исполняется по заказу семьи».

Анабель стояла в глубине, у колонны, в тёмном одеянии, и смотрела, как тридцать один год чужой жизни возвращается чужим людям через её руки, и никто в этой церкви не знал, что она здесь, и никто не знал, что это она.

Аноним.

Хорошее слово. Просторное. В нём можно жить.

Ей заплатили в тот же вечер, у бокового входа, из рук в руки, как платят повитухе или человеку, который увёз тело. Деньги были приличные. Миссис Пенхэллоу задержала её ладонь в своей чуть дольше, чем нужно, и сказала что-то — Анабель потом не могла вспомнить что, потому что в ту секунду занята была другим: считала, сколько ещё дней сможет прожить на эти деньги, и одновременно придумывала за вдову целую благодарственную речь, гораздо более тёплую и подробную, чем та, что была сказана на самом деле.

Она придумала эту речь так хорошо, что к воскресенью уже помнила её как настоящую.

Глава вторая. Человек без зазора

Во вторник пришёл настройщик.

Его звали Томас Рид, он приходил дважды в год, и Анабель не могла бы сказать, сколько ему лет: у таких людей возраст не читается, он весь уходит в руки. Он снял пальто, повесил его на тот же крюк, что и в прошлый раз, и открыл крышку без всякой торжественности — так открывают ящик с инструментом, которым работают каждый день.

Он работал молча около сорока минут.

Потом сказал:

Инструмент здоров.

Пауза. Стук молоточка по клавише, ещё раз, ещё.

На нём просто мало играют то, что хочется.

— Он стоит в сырой комнате, вот и всё, — сказала Анабель, и её голос прозвучал ровно, приветливо и совершенно пусто. — Я отодвину его от стены.

Он кивнул. Он не стал настаивать. Он вообще никогда ни на чём не настаивал, и в этом была вся причина.

Дело в том, что Анабель думала о людях постоянно. Это была её основная деятельность — куда более важная, чем музыка. Она составляла людей у себя в голове по кусочкам: по тому, как человек здороваётся, по тому, на секунду ли дольше задержался взглядом, по тому, что не сказал. Из этих кусочков она строила целые разговоры, целые отношения, целые годы вперёд и назад, и жила в них подолгу, и они были подробны, и почти всегда они были о том, чего этот человек на самом деле от неё хочет и что он на самом деле о ней думает.

Для такой работы нужен материал. Нужна неясность. Нужен зазор между тем, что сказано, и тем, что имелось в виду, — и чем шире зазор, тем дольше можно строить.

Томас Рид зазора не давал.

Он говорил то, что думал, ровно теми словами, какими думал, и в его словах не оставалось ни одной щели, куда можно было бы просунуть домысел. Поэтому её механизм на нём просто не заводился. Он проходил через её жизнь, как проходит сквозь комнату дневной свет: слишком очевидный, чтобы его рассматривать.

Он собрал ключи в футляр, обитый изнутри синим бархатом, и защёлкнул крышку.

Если будете играть своё, мисс Анабель, сказал он, надевая пальто, позовите раньше срока. Под своё инструмент садится иначе.

Tacet.

— Всего доброго, мистер Рид, — сказала она.

Он звал её полным именем. Он всегда звал её полным именем, и за шесть лет она ни разу не задумалась почему.

Глава третья. Три с половиной часа

В среду она гостила у Хэрриет.

Ана. Так её звали три или четыре человека на всём свете, и все они знали её с той поры, когда фамилия ещё что-то значила, а денег ещё хватало на учителя музыки. Ана была тёплая. Ана легко смеялась и умела слушать.

В этом доме о ней говорили так.

Ана совсем не меняется. Ана как была девочкой, так и осталась: круглое лицо, волосы тёмные, а на солнце вдруг с рыжиной, и бледненькая — знаете, той прозрачной бледностью, какая бывает только у детей и у выздоравливающих. Маленькая, вся какая-то растрёпанная, вечно сидит с ногами в кресле. Смеётся всем лицом. Ей и двадцати не дашь.

Одевалась Ана в старое, в тёплое, в вылинявшее — в рыжее, в горчичное, в цвет спитого чая, — и в этом доме находили, что ей очень идёт этот её милый беспорядок, и никто ни разу не назвал вещи своим именем, потому что настоящее имя этого беспорядка было «денег нет с осени».

Говорила Ана быстро и вдвое.

Да, да. Конечно, конечно. Ой, нет-нет-нет.

Короткими толчками, весело, чуть захлёбываясь, — так играют стаккато, когда хотят, чтобы всем стало легко.

Хэрриет разливала чай и рассказывала о ремонте в столовой.

Ремонт занял двадцать минут. Потом были кухня, доктор, вопрос о шторах, и снова кухня.

Ана смеялась в нужных местах. Ана говорила: боже мой. Ана говорила: и что же он ответил? — и это был честный вопрос, ей правда было интересно, она правда любила Хэрриет, любила двадцать шесть лет, с той зимы, когда они обе болели скарлатиной в одной комнате и рисовали на запотевшем стекле.

Спроси меня что-нибудь.

Что угодно. Спроси, как я сплю. Спроси, откуда деньги. Спроси, почему я стала носить перчатки в доме.

Я отвечу. Я так отвечу, что ты заплачешь. У меня это хорошо получается — я этим зарабатываю.

Тасет.

— Шторы бери зелёные, — сказала Ана. — С твоим светом только зелёные.

В четыре Хэрриет вдруг взяла её за руку и сказала: ты самый лёгкий человек из всех, кого я знаю. С тобой отдыхаешь. Ты никогда ничем не грузишь.

Да.

Да, это правда. Это чистая правда, и это лучшее, что ты обо мне думаешь, и это худшее, что обо мне можно сказать.

— Ты меня перехвалишь, — сказала Ана и засмеялась, и смех вышел хороший, настоящий даже, потому что к тридцати годам граница между хорошо сыгранным и настоящим стирается и уже не всегда понятно, с какой ты стороны.

Она вышла на улицу в шестом часу. Шёл дождь, тот мелкий февральский дождь, которого не видно и от которого к третьему кварталу промокает воротник.

Она прошла три квартала, прежде чем поняла, что за весь визит, за три с половиной часа, ей не задали ни одного вопроса.

Не со зла. Просто не задали.

Она составила по дороге домой длинный, подробный, очень справедливый разговор, в котором Хэрриет наконец спрашивала, а она наконец отвечала, и в этом разговоре Хэрриет

плакала и просила прощения, и они обе смеялись сквозь слёзы, и всё становилось как в четырнадцать лет.

Разговор был такой убедительный, что к Тоттенхэм-Корт-роуд ей стало почти легче.

Глава четвёртая. Четыреста под стеклом

В пятницу она была Беллой.

Белла говорила короче. Белла держала спину прямее, чем нужно, и это прочитывалось как достоинство, а не как страх. Белла не смеялась первой. У Беллы было имя — не своё, а то, которое ей сшили: одарённая, скромная, из хорошей семьи, «наша мисс», та, у которой заказывают, когда умирает кто-то, кого нужно похоронить красиво.

В свете о ней говорили так.

Высокая. Очень прямая. Не хорошенькая — представительная, а это, согласитесь, куда более редкое качество. Волосы иссиня-чёрные, гладко убранные, ни одной выбившейся пряди. Возраст? Право, затрудняюсь. Лет тридцати, я думаю. Леди Морком уверяет, что сильно за сорок, и по-своему тоже права. И эта её бледность — восковая такая, ровная бледность, которая сейчас в моде и которой ни одна девица не может добиться нарочно.

Восковая.

Платье на Белле было тёмное, строгое и дорогое на вид. Оно было одно. Его перешивали четвёртый год, и в свете находили, что мисс имеет характер и не гонится за модой. Перчатки она не снимала и в доме — у Беллы не могло быть чернил на боковой стороне пальца и следа от бечёвки поперёк ладони.

Говорила Белла длинно и ровно, на одном выдохе, не повышая голоса ни на одном слове, и каждую фразу заканчивала ниже, чем начинала, — так закрывают крышку, так опускают каденцию в тонику. После такой фразы не спорят. После такой фразы вообще нечего сказать, — и в этом весь смысл.

Дом на Портленд-плейс принадлежал мистеру Освину Вейну.

Она увидела его сразу, как только вошла в гостиную, — так же, как видела каждый раз, как видела с первого дня.

Он стоял у камина спиной к огню, и стоял он так, как стоят на булавке.

Это было первое, что она про него поняла, и за четыре месяца ничего вернее не придумала. Мистер Вейн был расправлен. Плечи развёрнуты и держались развёрнутыми — не выучкой и не усилием, а потому, что иначе уже не умели; грудь подана вперёд и закреплена в этом положении, как закрепляют на подложке крыло, чтобы оно сохло в размах. Он не садился глубоко. Он не опирался. За весь вечер он ни разу не позволил себе ни одной из тех мелких уступок, какими живое тело выпрашивает у себя передышку.

А рукав его сюртука был пуст в предплечье.

Не весь — по краю, вокруг чего-то, что шло внутри рукава прямо и ровно от локтя к кисти и нигде не менялось в толщине. Мясо вокруг этого ссохлось и запало, как западает к осени брюшко у того, кого накололи в июне, когда булавка остаётся та же, а всё прочее убывает.

Брови у него были густые и совершенно седые, и волоски в них были слишком длинные и слишком тонки для человеческих, и они не лежали. Они пробовали воздух. Пока он говорил, они шли мелкой встречной волной, врозь, каждый сам по себе, — и когда мимо несли устрицы, все повернулись к блюду прежде, чем он успел повернуть лицо.

Пах он нафталином и камфарой, а под ними было третье, тёплое, сладковатое: так пахнет яблоко, забытое на зиму в закрытом ящике.

Когда он поворачивал голову, глаза приходили следом с опозданием в четверть секунды.

Мистер Вейн был очаровательным собеседником и известнейшим в городе знатоком. Ему было около шестидесяти. Он овдовел одиннадцать лет назад и с тех пор не женился.

Леди Морком взяла его под руку, и в уголках её рта, у самой кромки губ, стояли две щетинки — длинные, светлые, жёсткие, — и они тронули его рукав прежде, чем она заговорила.

Полковник Хэй пожал ему руку и не отпускал её, смеясь, целых восемь секунд, и не мог отпустить: с внутренней стороны полковничьей ладони, у основания большого пальца, был крючок.

Молодая жена издателя поправила ему шарф — движение интимное, почти дочернее, — и, отходя, продолжала улыбаться той улыбкой, какой улыбаются, отойдя от человека, который очень нравится. Под лопатками у неё, сквозь шёлк, проступали очертания чего-то сложенного вдвое и ещё раз вдвое, чего под платьем быть не могло.

Никто.

Никто в этой комнате не отшатнулся. Никто не побледнел. Никто не перестал есть. Никому в этой комнате не пришло в голову, что это следует прекратить.

Тридцать шесть человек, свечи, устрицы, разговор о выборах, и посреди этого — существо, которое дышало не в такт собственной груди.

Я схожу с ума.

Нет. Я не схожу с ума. Я вижу лучшие всех в этой комнате, я всегда видела лучшие всех, я слышу четверть тона в водопроводной трубе, и вот стоит мой единственный заказчик, расправленный, как его собственный экземпляр, и ему подают руку, и я сейчас подойду и тоже подам.

Он увидел её и пошёл навстречу, и его походка была чуть-чуть быстрее, чем следовало из движения ног.

Наша мисс, сказал он. Я слышал святого Панкратия. Я стоял сзади и слышал, как плакал мальчик. Знаете, что это было? Это были две ноты, вниз и вверх. Я их поймал. Никто больше не поймал, а я поймал, потому что я слушаю не то, что красиво, а то, что правда.

Tacet.

— Вы слишком добры и очень проницательны, мистер Вейн, — сказала Белла.

Это одинокое ремесло, сказал он. Писать за других и стоять в темноте у колонны. Вас там не было в программке. Я смотрел.

Он заметил.

— Так принято, — сказала Белла.

Принято скверно, сказал мистер Вейн.

И повёл её через комнату — не грубо, без нажима, просто оказалось, что они идут, — мимо гостей, в свой кабинет, где на длинном столе под стеклом, в двенадцать рядов, лежали бабочки.

Их было около четырёхсот.

Они были прекрасны. Этого нельзя было отрицать, и Анабель, которая разбиралась в ремесле и уважала ремесло, увидела сразу, что работа сделана рукой мастера: ни одна булавка не стояла криво, ни одно крыло не было заломлено, каждая бирка подписана мелким, ровным, почти печатным почерком.

Люди думают, что это про смерть, сказал мистер Вейн. Что смерть жестока. Это заблуждение. Бабочка живёт одиннадцать дней и за одиннадцать дней никто не успевает её рассмотреть. Я даю ей столетие. Через сто лет её увидят так же ясно, как я вижу сейчас. Что в этом жестокого?

На отдельной полке, чистая, вымытая, готовая, стояла широкогорлая банка с притёртой крышкой. Стекло. Гипс на дне.

Морилка.

— Ничего, — сказала Белла. — В этом нет ничего жестокого.

Он улыбнулся, и верхняя губа поднялась выше, чем нужно для улыбки, — и за зубами, в темноте, что-то было уложено витком, как укладывают в коробку шнур.

Я хочу вам помочь, сказал он. Не из милости. У меня есть глаз и есть слух, а у вас есть то, на что можно смотреть и что можно слушать. Это редкое совпадение, и я не намерен его упускать.

Она вышла от него в час ночи с заказом на две пьесы, с рекомендацией к лорду Фицхаю и с оставшимся на перчатке слабым запахом камфары.

Всю дорогу домой, в кэбе, она придумывала, что он на самом деле имел в виду. Что он есть на самом деле.

Глава пятая. Между второй и третьей

Дома она сняла перчатки, налила и села к столу.

В комнате не было зеркала.

Первая — чтобы перестали дрожать руки. Вторая — просто вторая. Между второй и третьей есть промежуток минут в двадцать, который Анабель любила больше всех прочих часов своей жизни: комната делается тёплой, лампа делается доброй, и главное — одиночество вдруг перестаёт быть тем, что с тобой сделали, и становится тем, что ты выбрала сама.

Вот в чём вся штука.

Трезвая, она сидела одна, потому что её никто не позвал. Выпившая — потому что так лучше.

Это была одна и та же комната, один и тот же стул, одно и то же отсутствие людей, и разница между этими двумя вечерами была только в том, чей он был — её или чужой.

Это того стоит, думала она. Расплатиться утром за вечер. Утром всё равно уже всё равно.

Она думала о людях.

Она думала о том, что за всю жизнь так и не смогла понять, чем держится между людьми то, что они называют дружбой. У неё было четыре или пять человек, которых она любила по-настоящему, и она знала про них всё: что Хэрриет боится собак и никому в этом не признаётся, что у Джона на левой руке нет ногтя и он прячет руку в разговоре, что старая миссис Уоррен раз в год ездит на могилу, о которой её сын не знает.

Она хранила эти вещи бережно, как хранят чужие письма.

А про неё не знал никто и ничего.

И не потому, что скрывала. Она бы сказала. Господи, она бы сказала при первом же вопросе, она ждала этого вопроса годами, как ждут поезда.

Просто её любили за то, что она умеет. Позвали — пришла, сделала, стало легче. Не нужна — и нет её. И, кажется, никто из них ни разу не заметил этой арифметики: они не были плохими людьми, они были обыкновенными, а обыкновенные люди берут то, что дают, и не спрашивают, откуда.

Значит, дело не в них.

Значит, дело в ней: она умеет только давать то, что умеет. Уберите музыку — и что останется? Что останется предъявить человеку, если нельзя предъявить работу?

Ничего.

Вот это и было самое страшное — не то, что её не любят, а то, что и любить-то, по совести, не за что; что она сама, если бы встретила себя, тоже прошла бы мимо, вежливо кивая.

И ещё одно.

Она прекрасно знала, что это игра. Вот что именно следует понимать про Анабель: она знала. Она могла бы, если бы кто-нибудь спросил, разложить обеих по косточкам — где у Аны заканчивается радость и начинается служба, каким именно движением Белла удлиняет себе шею на пороге чужой гостиной. Она всё это видела про себя ясно.

Просто она не успевала.

Переключение происходило раньше мысли. На третьей ступеньке, за секунду до того, как отворят дверь, тело само выбирало, кем ему быть, — и выбирало безошибочно, ни разу за пятнадцать лет не ошибившись адресом, — а она приходила следом, с опозданием, и заставляла уже готовое.

Ана и Белла не совпадали ни в чём.

Ни в возрасте, ни в росте, ни в том, как они смеялись, ни даже в оттенке волос, и это было одно и то же тело.

Кроме одного.

Ни та ни другая никогда никого не перебивала. Ни разу. Она вступала только в полную тишину — не раньше, чем последнее чужое слово упадёт и отзвучит до конца, — как вступают по партии, когда сосчитаны все паузы. Ане за это говорили: ты умеешь слушать, как никто. Белле за то же самое говорили: какая выдержка, какое самообладание. Обе стороны были совершенно уверены, что видят добродетель.

Это было всё что угодно, но не она.

Это была привычка человека, который ни разу за всю жизнь не решил, что то, что он собирается сказать, важнее того, что говорят ему.

Она плакала минут десять — некрасиво, с мокрым лицом и заложенным носом, вытирая щёки тыльной стороной кисти, как вытирают дети, — и это тоже входило в вечерний порядок, и после этого всегда становилось легче, и это было самым нечестным, что с ней случалось за день.

Потом она достала бумагу и написала три письма.

* * *

Дорогая Хэрриет.

Сегодня ты держала меня за руку и сказала, что я никогда ничем тебя не грузю, и я засмеялась, и мне было так больно, что я потом три квартала шла и не помнила дороги. Хэрриет, я одна. Я совсем, совсем одна, я не помню, когда меня в последний раз кто-нибудь обнял просто так, не в благодарность за работу. Я пью по вечерам, и мне это нравится, и это меня пугает. Я хожу к человеку, от вида которого мне делается —

Хэрриет, я хожу к человеку, который платит. Вот и всё, что я могу об этом сказать, он платит и он единственный, кто заметил, как я работаю.

Спроси меня что-нибудь. Один раз. Мне больше ничего не нужно, я не попрошу денег, я ничего не попрошу, просто спроси —

* * *

Мистеру Т. Риду, Грейт-Портленд-стрит.

Благодарю Вас за вторник. Инструмент стал ровнее. Если в мае Вы будете в этой части города, зайдите, пожалуйста, посмотреть левую педаль, она стучит.

С уважением,

* * *

Никому.

Сегодня я стояла в комнате, где под стеклом лежат четыреста мёртвых бабочек, и думала: они красивые. Их хотя бы кто-то захотел оставить. На моих партитурах написано «аноним», и я сама это выбрала, я сама попросила, потому что так спокойнее, потому что если там не стоит моё имя, то никто не может сказать, что это плохо, и никто не может сказать, что это хорошо, и вообще никто ничего не может про меня сказать. Я живу под стеклом ровно так же, как они. Разница только в том, что меня туда никто не клал.

Я сама залезла и сама закрыла крышку изнутри.

А. Веспер

* * *

Она сложила все три и убрала в нижний ящик, к остальным. Их там было много. Ящик приходилось придавливать коленом.

Ни одно из писем, написанных за шесть лет, отправлено не было.

В верхнем ящике лежала вторая стопка — та, что приходила ей. Эту она иногда перечитывала.

Милая моя Ана, ты совсем девочка, ты не меняешься, приезжай в воскресенье, будет весело...

Многоуважаемая мисс, зная Вашу известную всему Лондону сдержанность и не решаясь беспокоить...

Она читала то одно, то другое, пока строчки не начинали расплываться.

Потом — и это тоже был вечерний порядок, самая его сердцевина — она достала из-под нотной бумаги толстую, растрёпанную, перевязанную бечёвкой рукопись.

На титульном листе стояло:

Реквием.

А ниже — пустая строка, оставленная под слова «памяти такого-то», которые она не написала и через девять лет.

Потому что она писала его не по мёртвому.

Она писала его — с двадцати пяти лет, тайком, между чужими похоронами — по человеку, которого ещё не встретила. По тому единственному, который когда-нибудь спросит. Она откладывала посвящение, как откладывают дату на письме, которое ещё отправят.

Девять лет. Четыреста страниц. Ни одной ноты, услышанной вслух кем-либо, кроме неё.

Сегодня, у камина, Вейн сказал: я слушаю не то, что красиво, а то, что правда.

И она, вот сейчас, в половине третьего ночи, придвинула рукопись к краю стола и подумала, что могла бы взять извозчика или хотя бы послать записку. Показать четыре такта — не четыреста страниц, четыре такта, — и посмотреть, что будет.

Она сидела над этой мыслью долго.

Потом отодвинула рукопись обратно.

Он посмотрит и скажет: недурно.

Он скажет «недурно» тем самым голосом, которым говорят «недурно» ученическим работам. Или, хуже, он ничего не скажет, а посмотрит так, как смотрят на человека, который показал слишком много. Или — хуже всего — он похвалит, и я не смогу отличить правду от жалостливой доброты, и буду думать об этом до конца жизни.

Пока я не показала, оно может быть чем угодно. Пока я не показала, оно ещё, может быть, гениально.

Она завязала бечёвку и убрала рукопись под нотную бумагу.

Завтра.

Она задула лампу.

И вот тогда, уже в темноте, в постели, лёжа лицом к стене, она услышала, как поёт труба.

Четверть тона ниже. Вниз и вверх. Вниз и вверх — та же тесная, неудобная малая секунда, которую тридцать один год высвистывал сквозь зубы покойный мистер Пенхэллоу и которую она четыре дня назад своей рукой зашила в шесть минут музыки для органа и двух голосов.

Дом старый, подумала она. Трубы тоже старые.

Она подумала это дважды, очень отчётливо, как повторяют формулу, в которую уже не верят, но без которой не уснуть.

Она уснула.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.